

Цветаева — Пастернаку:

«Вы в моей жизни необходимы»

14 июня 1922 г., Москва

ПАСТЕРНАК — ЦВЕТАЕВОЙ: Дорогая Марина Ивановна! Сейчас я с дрожью в голове стал читать брату Ваше «Знаю, умру на заре, на которой из двух» — и был перебит волною подкатывавшего к горлу рыдания <...> Простите, простите, простите! Как могло случиться, что плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны, я не знал, с кем рядом иду?

Как странно и глупо кроится жизнь! Мес- сяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и существовали уже «Версты» <...>

Я и сам собираюсь за границу. Непре- менно захочу Вас видеть иначе, нежели всегда хотел.

Потрясенный Вами Б. Пастернак.

19 ноябрь 1922 г.

ЦВЕТАЕВА — ПАСТЕРНАКУ: Дорогой Борис Леонидович! Я дала Вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне двух дней — что уцелеет? И вот, из-под щебы.

Зимой 1919 г. встреча на Мокховой. Вы несли продавать Соловьева (?) — «Потому что в доме совсем нет хлеба». — «А сколько у Вас выходит хлеба в день?» — «5 фунтов». — «А у меня 3. Пишете?» — «Да (или нет, не важно)». — «Прощайте» — «Прощайте».

11-го (по-старому) апреля 1922 г. Похоро- ны Т.Ф. Скрибиной. Я была с ней в дружбе 2 года подряд, — ее единственным женским другом за жизнь. Дружба суровая: вся на деле и в беседе, мужская, вне нежности земных примит.

Иду с Коганом, потом еще с каким-то, и вдруг — рука на рукав — как лапа. Вы.

Теперь самое главное: стоим у могилы. Руки на рукаве уже нет. Чувствую — как всегда в первую секундочку после расставания —

А теперь, Пастернак, просьба: не уезжайте в Россию, не повидавшись со мной. Россия для меня — un grand peut-etre, почти тот свет. Уезжайте Вы в Гваделупу, к змеям, к прокаженным, я бы не окликнула. Но: в Россию — окликаю.

Два раза в Вашем письме: «тяжело». Только потому, что Вы с людьми. Вы летчик! Идите к богам: к деревьям. Это не лирика, это врачебный совет.

Единственная моя горечь, что я в Берлине не дождалась Вас.

11 ноябрь 1923 г.

Ц. — П.: Вы не человек и не поэт, а явление природы. Бог по ошибке создал Вас человеком, оттого Вы так и не вжились — ни во что! И — конечно — Ваши стихи не челове- ческие — ни приметы. Бог задумал Вас ду- бом, а сделал человеком, и в Вас ударяют все молнии (есть такие дубы!), а Вы долж- ны жить.

9 марта 1923 г.

Ц. — П.: Пастернак, я не приеду. (У меня бо- лен муж, и на визу нужно 2 недели. Если бы он был здоров, он бы, может быть, сумел что-нибудь устроить, а так я без рук) <...> Принялась за большую книгу прозы (перепишу!), рассчитав ее окончание на 1/2 апреля. Работала все дни, не разгибая спины. Гору сдвинуть! Какая связь? Ясно. Так вскинуться я не вправе (перед жизнен- ной собой!). У меня (о окружающих) очень трудная жизнь, с моим отъездом весь чер- тов быт на них. Мне встречу с Вами нужно было заработать (перед собой). Это я и де- лала. Теперь поздно: книга будет, а Вас нет. Вы мне нужны, а книга — нет.

Сейчас лягу и буду думать о Вас. Сначала с открытыми глазами, потом с закрытыми. Из княжества слов — в княжество снов.

Завтра утром допишу. Сейчас больше трех, и Вы давно спите. Я с Вами всю ночь говорила сонным.

ок. 20 марта 1923 г.

П. — Ц.: Пройдет время, которое не будет принадлежать ни мне, ни Вам, пока станете вы моей милой, неразлучной женой, что мои слова о себе и о Вас не лживы, не под- ложны и не ребячливо-простодушны. По- ка она увидит воочию, что та высокая и взаимно возвышающая дружба, о которой я говорил ей со всею горячностью, дей- ствительно горяча и действительно дружба <...> Это роковая беда, что мы не встретились втроем. Тогда от этой низкой тлжбы бы были бы все трое. Я уве- рен, она полюбила бы Вас так же, как Ваши книги, в восхищении которыми мы с нею сходимся без тягостностей и недоразуме- ний. Как рассказать мне ей то, что нас с Ва- ми связало, когда даже и Вам мне этого не выразить.

Осеню ждем мы ребенка, это ее, бед- ную, и погнало домой. Вот и едем. Марина, если Женя проснется, я обрву письмо и так пошло. Этот один обман да простится всем нам троем.

июль 1924 г. — 5-го июля

Ц. — П.: У Блока была тема — Россия, Пе- тербург, цыгане, Прекрасная дама и т.д. Ос- тальное (т.е. его, Блока, в чистом виде) принимали бесплатным приложением. Вы, Борис, без темы, весь — чистый вид, с ка- кого края Вас любить, по какому поводу? Что за Вашими стихами встает? Нечто: Ду- ша, Вы. Тема Ваша — Вы сам, которого Вы еще открываете, как Колумб — Америку, всегда неожиданно и не то, что думал, предполагал. Что здесь любить читателю? Вас.

Любить Вас читатель не согласится. Будет придираться к ритмике, etc., но за ритми- ку любить он не сможет. Вы, самый боль- шой поэт Вашего времени, — первый, дерзнувший без тем, осмелившийся на са- мого себя.

«Я себе сына заказала»

осень 1924 г.

Ц. — П.: Борис, если не долетело, повторю вкратце: в феврале я жду сына. Со мной из- за этого ребенка уже раздружились два мо- их друга — из чистой мужской оскорблен- ности, негодования, точно я их обманула, хотя ничего не обещала!

С рождения моей второй дочери (роди- лась в 1917, умерла в 1920 г.) прошло 7 лет. Это первый ребенок, который после этих семи лет — поступался. Борис, если Вы ме- ня из-за него разлюбите, я не буду жалеть. Я поступила правильно, я не поменяла вер- стаку жизни... я не воткнула палки в спицы колеса судьбы.

14 февраля 1925 г.

Ц. — П.: 1-го февраля, в воскресенье, в пол- день родился мой сын Георгий. Борисом он был девять месяцев в моем чреве и де- сять дней на свете, но желание С. (не тре- бование) было назвать его Георгием, и я уступила. И после этого — облегчение.

Назови я его Борис, я бы навсегда про- стилась с Будущим: Вами, Борис, и сыном от Вас. Так, назвав этого Георгия, я сохра-

нила права на Бориса (Борис остался во мне).

В самую секунду его рождения возле кровати загорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени. А на улице буше- вала метель, Борис, снежный вихрь, с ног валило. Единственная метель за зиму, и именно в его час!

Мой сын — Sonntagskind, будет понимать речь зверей и птиц и открывать клады. Я себе его заказала.

Я приучила свою душу жить за окнами, я на нее в окно всю жизнь глядела — о, толь- ко на нее! — не допускала ее в дом, как не пускают, не берут в дом дворовую собаку или воспитательную птицу. Душу свою я сделала своим домом (maison goulante), но никогда дом — душой. Я в жизни своей от- сутствую, меня нет дома.

Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это — доля. Ты же — воля моя, та, пушкинская, взамен счастья (я во- все не думаю, что была бы с тобой счастли- ва!).

Ты — мой вершинный брат, все осталь- ное в моей жизни — аршинное.

26 мая 1925 г.

Ц. — П.: <...> Георгий же — в честь Москвы и несбывшейся Победы. Но Георгием все- таки не зову, зову Мур — от kota, Борис, и от Германии, и немножко от Марины. На днях ему 4 месяца <...> Ваш старше всего на два, нет, на 15 года. Будут друзья. (Ваше имя он будет знать раньше, чем Ваш — мое!)

Вспоминаю Ваши слова об отцовстве в изумительных Ваших «Воздушных путях». Я бы предложила такую формулу: вокруг света (моряк) и вокруг вселенной (отец). Ибо колыбель — единственная достоверная вселенная.

25 июня 1925 г.

Ц. — П.: Я Вас чувствую главой поколения (на весь Вавилон вышел!). Вы — последний камень рушащегося Вавилона, и Ваше имя, Борис, в моем сознании звучит, как угроза грома — рокотом, очень издалека. И не то креститься, не то ставить закрывать. А я на этот гром — двери настежь — авось!

2 июля 1925 г.

П. — Ц.: Мне живется очень трудно, и быва- ют времена, когда я прихожу в совершен- ное отчаяние. Я пишу Вам как раз в один из таких периодов.

Мне горько за своих, страшно себя и стыдно мысли, что в чем-то таком, что со- ставляет существо живого человека, я глупо- бобо бездарен и жалок.

Четвертый день я хожу по издательствам и редакциям. Мне надо достать во что бы то ни стало около трехсот рублей, чтобы отстоять квартиру и заплатить налог. Я с трудом достал пятьдесят и не знаю, что де- лать. Это очень унижительная процедура.

<...> начал роман в стихах. Я дал себе слово тайть работу, пока всего не кончу. И опять непреодолимые материальные причины легли поперек работы и механи- чески отсекали то, что стало первой главой. Мне пришлось ее показать и понести на рынок. Вещь у меня оторвали с ру- ками.

Вы чище и крепче меня, потому что не изменились. А меня бы Вы не узнали. Если талант, в аналогии, представляется каким- то изгибом шейной мышцы, по особому приподымающей подбородок, то эту гор- делливую породистую жилку постоянно на- ходишь в Вас и не перестаешь замечать: мне кажется, я бы мог Вас описать, разбрав свое собственное чувство в минуты поэтического подъема. Но Вы и сами ее обнажаете, Вы пишете с раскрытым воро- том, Ваш лиризм по-прежнему молод, свя- тая поза осталась в нем.

«Есть тысячи женских лиц, которых мне бы пришлось любить, если бы я давал себе волю»

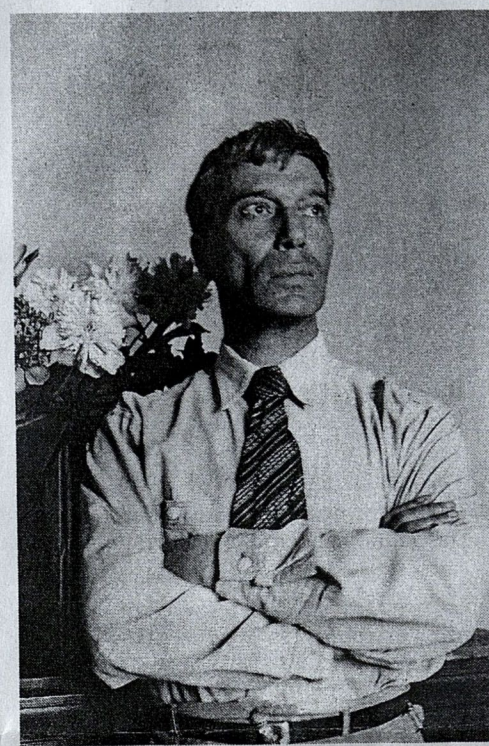
10-14 июля 1925 г.

Ц. — П.: Мне вот уже (17 г. — 25 г.) 8 лет суждено кипеть в быту, я — тот козел, ко- того хотят резать, которого непре- станно заре- и недоре-зывают, я — то ва- рево, которое (8 лет) кипит у меня на при- мусе... Я растерзана жалостью и гневом, жалостью — к своим, гневом — на себя: за то, что терплю. Презирая себя за то, что по первому зову (1001 в день) была срыва- юсь с тетрадки, и НИКОГДА — обратно. Во мне протестантский догм, перед которым даже моя католическая любовь (к тебе) — шутка, пустяк.

Я неистово озлоблена, и меня не любят, восхищаются, боятся. Целый день киплю в

котле. Поэма «Крысолов» пишется уже чет- вертый месяц, не имею времени думать, ду- мает перо... Живу фактически взаперти. У те- бя хоть между редакцией и редакцией, ре- дакцией и домом есть куски, отрывки троту- ара, пространства. Я живу в котловине, запу- шенная холмами: крыша, холм, на холме — лежа — туча: туша. Друзей у меня нет — здесь не любят стихов, не нужны, а вне — не сти- хов, а того, что их создает, — что я? Негосте- приимная хозяйка, молодая женщина в ста- рых платьях. Да еще с мужской иронией!

Деревня: свои две руки и ни секунды сво- его времени. Деревьев не вижу, дерево ждет



любви (внимания), а дождь мне важен, по- скольку просохло или не просохло белье.

Вот я тебя не понимаю: бросить стихи. А тогда что? С моста в Москву-реку? Да, ми- лый друг, со стихами как с любовью: она тебя бросает, а не ты ее.

«Не жди слов, побывавших в кислотах»
4 января 1926 г.

П. — Ц.: О смерти Есенина. Этот ужас нас совершенно смял <...>

Он прожил замечательно яркую жизнь. Биографически, в рамках личности — это крайнее воплощение того в поэзии, чему нельзя не поклониться и чему остались верны Вы, а я нет. Последнее стихотво- рение он написал кровью. Его стихи неиз- меримо ниже его мужества, порывистости, исключительности в буйстве и стра- сти... Из нас сделали соперников в том смысле, что ему зачем-то тыкали мною, хотя не было ни раза, чтобы я не отклонял этой несусразицы. Я доходил до самоуни- чужения в старании разрушить это сопос- тавление, дикое, ненужное и обидное для обеих сторон. Там кусок горячей жизни, бездонная почвенность, популярность, признанность всеми редакциями и изда- тельствами и прочее, здесь — мирное про- жабанье, готовое расписаться в своей по- средственности, постоянная спорность, узкий круг, другие, несравнимые, загадки и задачи, конфузная обстановка отказов и двусмысленностей. И только раз, когда я вдруг из его же уст услышал все то обид- ное, что я сам наговаривал на себя <...> дал ему пощечину. Он между прочим ду- мал колнуть меня тем, что Маяковский больше меня, это меня-то, который в по- стоянную радость себе вменяет это собст- венное признание. Сейчас горько и не- мыслимо об этом говорить.

23 февраля 1926 г.

П. — Ц.: <...> Будто бы Есенин перед отъ- ездом говорил Казину: «Вот увидишь, как обо мне запишут». С этим хотят поставить в связь домосел о том, будто бы Е. хотел устроить покушение на самоубийство, в чем между прочим ипуг объяснение факта, что кисти правой руки была у него на горле и зашептала петлей.

19 марта 1926 г.

П. — Ц.: Потом я хотел рассказать тебе о же- не и ребенке, о перемене, произошедшей в эти годы со мной, и — в эти дни, о том, как ее не понимают; о том, как чиста моя совесть и как, захлебываясь тобою, я люблю и боюсь, когда она не пьет рыбьего жи- ра <...> Только тебе можно говорить правду, только по дороге к тебе она не по- падает в соли и щелочи, разъедающие ее до- лжи. Будь счастлива в Лондоне, как я счаст- лив сейчас с тобой, не жди никогда слов, побывавших в кислотах, ты все знаешь.

ок. 27 марта 1926 г.

Ц. — П.: Кстати, нас с тобой на громком диспуте вместе ругали. «Белиберда вроде Пастернака и Цветаевой». Мы за границей до смешного ходим в паре. У всех на устах.

В Россию никогда не вернусь. Просто по- тому, что такой страны нет. Мне некуда возвращаться. Не могу возвращаться в бук- ву, смысла которой не понимаю (объясня- ют и забывают).

ок. 9 апреля 1926 г.

Ц. — П.: О безукоризненной вежливости же — вспомни Блока и Маяковского, обоих, ко- го бы я могла любить (теперь — нет). От Бло- ка я стояла меньше чем в 2 вершках, толпа

теснила — рядом, 1921 г., а в 16 я написала: «И по имени не окликну, и руками не потя- ну». И не потянулась. А он умер. А с Мая- ковским — раннее утро на Б. Лубянке, гро- мовой оклик: Цветаева! Я уезжала за грани- цу — ты думаешь, мне не захотелось сейчас, в 6 часов утра, на улице, без свидетелей, ки- нуться этому огромному человеку на грудь и проститься с Россией? Не кинулась, потому что знала, что Лилия Брик и не знаю что еще...

Только в 1926 г., после лондонской знати, поняла: я получила не интеллигентское, а аристократическое воспитание — дунове- ние рано умершей матери. Отсюда, от нее, ненависть к буржуазии и полупрезрение — не без добродушия — к интеллигенции, к которой никогда себя не причисляла! Как один в Москве мне сказал: феодальный строй. Ворот ужет, герб держится.

20 апреля 1926 г.

П. — Ц.: <...> Есть тысячи женских лиц, ко- торых мне бы пришлось любить, если бы я давал себе волю. Я готов нестись на всякое проявление женственности, и видимостью ее кишит мой обиход. Может быть, в вос- полнении этой черты я рожден и сложился на сильном, почти абсолютном тормозе.

<...> ответь, как никому никогда не отве- чала, — как себе самой. Ехал ли мне к тебе сейчас или через год? Эта нерешительность у меня не абсурдна, у меня есть настоящие причины колебаться в сроке, но нет сил остановиться на втором решении (т.е. че- рез год).

ок. 28 апреля 1926 г.

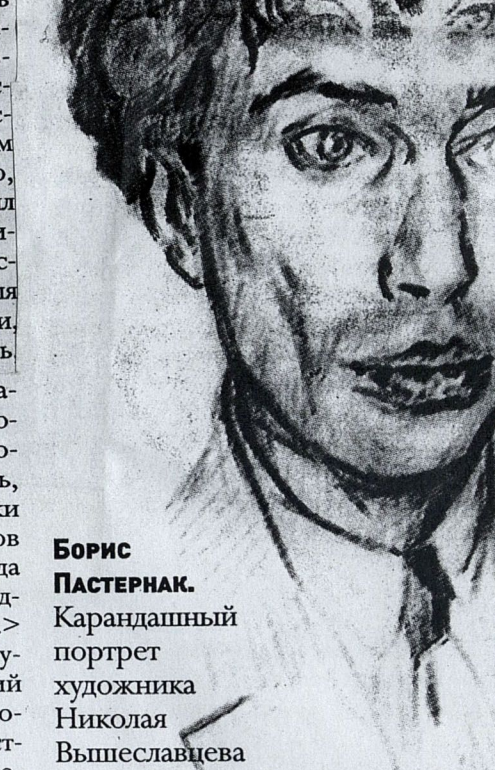
Ц. — П.: Через год. Ты — громадное счастье, которое надвигается медленно. У кого ты спрашиваешь? У той, которая с тех пор как себя помнит три дня носила с собой пись- мо — только чтобы не прочесть. (Ты — гро- за, которая только еще собирается.)

Я бы сейчас, Борис, ни за кого не вышла замуж. Знаешь мою детскую мечту (мечта многих, мечта мною десятки раз воушию слышанная, — и от девочек и от старух,

мечта времени): Ребенок — и одна. Жизнь с ним, в нем, без того. Или, это я уже сейчас, смерть с тем, в том.

St. Gilles, 23 мая 1926 г.

Ц. — П.: Я НЕ ЛЮБИЛЮ МОРЯ. Не могу. Столько места, а ходить нельзя. А ночью! Хо- лодное, шарахающее, невидимое, непобя- щее, исполненное себя — как Рильке! Землю я жалею: ей холодно. Морю не холодно, это и есть оно, <...> Чудовищное блудие. Плос- кое, Борис! Огромная плоскодонная лодка, ежeminутно вываливающая ребенка (кораб- ли). Его нельзя погладить (мокро). На него нельзя молиться (страшно). Море — дикта- тура, Борис! Гора — божество.



Борис Пастернак.

Карандашный портрет художника Николая Вышеславцева

мечта времени): Ребенок — и одна. Жизнь с ним, в нем, без того. Или, это я уже сейчас, смерть с тем, в том.

St. Gilles, 23 мая 1926 г.

Ц. — П.: Я НЕ ЛЮБИЛЮ МОРЯ. Не могу. Столько места, а ходить нельзя. А ночью! Хо- лодное, шарахающее, невидимое, непобя- щее, исполненное себя — как Рильке! Землю я жалею: ей холодно. Морю не холодно, это и есть оно, <...> Чудовищное блудие. Плос- кое, Борис! Огромная плоскодонная лодка, ежeminутно вываливающая ребенка (кораб- ли). Его нельзя погладить (мокро). На него нельзя молиться (страшно). Море — дикта- тура, Борис! Гора — божество.

21 июня 1926 г.

Ц. — П.: В Днях перепечатка статьи Маяко- вского о недостаточной действительности книжных приказчиков. Привожу дослов- но: «Книжный продавец должен еще боль- ше гнуть читателя. Вошла комсомолка с почти твердым намерением взять, напри- мер, Цветаеву. Ей, комсомолке, сказать, сдувая пыль со старой обложки: Товарищ, если вы интересуетесь цыганским лириз- мом, осмелюсь предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана! Мужина! Но это все временное. Поэтому напрасно в вас остыл интерес к Красной Армии; по- пробуйте почитать эту книгу Асеева» и т.д. Между нами — такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем чешская сти- пендия: не за себя, за него.

«Я нравилось старикам, женинам и собакам»
ок. 10 июля 1926 г.

Ц. — П.: У меня другая улица, Борис, лири- ческая, без людей, с концами концов, с

Письма печатаются во фрагментах. Многообразие в лонаных скобках отменены обрывы текста внутри абзацев. В редких случаях для облегчения чтения знаки препинания приведены в соответствие с ныне принятыми.

АРХИВ



ЦВЕТАЕВА с дочерью Ариадной (слева)

Долгая пауза в «рассекречивании» этой переписки была вызвана не только запретом дочери Марины Цветаевой — Ариадны Эфрон на публикацию большей части цветаевского фонда, хранящегося в Российском государственном архиве литературы и искусства. Срок табу истек в 2000 году, но сами письма требовали долгой и кропотливой реконструкции. Дело в том, что подлинники писем Цветаевой были утеряны еще в военные годы, когда сотрудница Музея Скрибина, не вышускавшая бесценного чехмоданчика из рук, однажды из-за усталости оставила его в электричке. И лишь многолетние штудии цветаевских записных книжек и черновилов, произведенные ведущим специалистом РГЛИ Еленой Коркиной и автором монографии о Цветаевой Ириной Шевеленко, позволили восстановить эпистолярное наследие двух вели- ких поэтов.

плечом, что Вы рядом, отступив на шаг. За- думываюсь о Татьяне Федоровне. Ее по- следний земной воздух... И, когда оглядыва- юсь, Вас уже нет: исчезновение.

Берлин, 29 ноябрь 1922 г.

Ц. — П.: Я живу в Чехии (близ Праги), в Мокропах, в деревенской хате. Послед- ний дом в деревне. Под горой ручей — та- скаю воду. Третий дня уходит на топку ог- ромной кафельной печки. Жизнь мало чем отличается от московской, бытовая ее часть — пожалуй, даже бедней! — но к сти- хам прибавились семья и природа. Меся- цами никого не вижу.

«Вы мне нужны, а книга — нет»

10 ноябрь 1923 г.

Ц. — П.: Последний месяц этой осени я не- устанно провела с Вами, не расставаясь, не с книгой. Я одно время часто ездила в Пра- гу, и вот ожидание поезда на нашей кро- хотной сырой станции. Я приходила рано, в сумерки, до фонарей. Ходила взад и впе- ред по темной платформе — далеко! И бы- ло одно место — фонарный столб — без света, сюда я вызывала Вас: «Пастернак» И долгие беседы бок о бок — бродячие...

Я не скажу, что Вы мне необходимы, Вы в моей жизни необходимы, куда бы я ни ду- мала, фонарь сам встанет. Я выключу фо- нарь...

И всегда, всегда, всегда, Пастернак, на всех вокзалах моей жизни, у всех фона- рных столбов моих судеб, вдоль всех ас- фальтов, под всеми «косыми ливнями», это будет: мой вызов, Ваш приход.

детством, со всем, кроме мужчин. Я на них никогда не смотрю, я их просто не вижу. Я им и не нравлюсь, у них нюх. Я нравлюсь старикам и женщинам и собакам. Я не нравлюсь голому инстинкту, я не нравлюсь полу, пусть я в твоих глазах теряю. Мною завораживались, в меня почти не влюблялись. Ни одного выстрела в лоб — оцени.

ок. 20 июля 1926 г.

Ц. — П.: <...> я еду в Чехию, а ты больше всего на свете любишь свою жену, и все в порядке вещей.

Борис, одна здесь, другая там — можно, обе там — невозможно и не бывает...

Двум поездкам вслед не глядят.

Не бойся, что я чем-нибудь преуменьшаю твою любовь к жене, но «я люблю ее больше всего на свете» — зачем ты мне это твердишь, это ей надо знать, не мне.

30 июля 1926 г.

П. — Ц. На прошлой неделе я дал Асееву, который тогда тоже присутствовал, прочесть Поэму Конца и Крысолова в печатных оттисках. Я дал ему месяц на прочтение и для спокойного, ничем не связанного отзыва. Он позвонил мне рано утром по телефону под сильнейшим впечатлением этой ни с чем не сравнимой, гениальной вещи... Они мечтают о перепечатке Поэмы в Лефе. Я не спрашиваю твоего согласия, потому что считаю мечту неосуществимой. Главлит не допустит твоего имени, а до главлита, верно, и Маяковский, относительно которого все уверены, что вещь ему понравится безумно.

4 августа 1926 г.

Ц. — П.: Борис, я с ума сошла. Теперь, когда больше не верю, скажу: из обоих писем по слезам я поняла — ты берешь партийный билет. Понимаешь мой ужас? Единственная вещь, которая бы нас развела навсегда (короткое жизненное всегда). <...> Борис, если мое горе называ-

танье, пропишет мне, что четвертование и сажанье на кол есть последнее открытие передового человечества, читавшего Маркса в библиотеке, а не глодавшего его в пещере, а послезавтра другой сукрин сын (прости, Марина) по служебным обязанностям докажет, что я — английский шпион, потому что на конверте, полученном мной, английские марки, и оно из Лондона, и потребность в связи с людьми и миром — блажь на взгляд обесчуждомленной чухомы, которая лучше меня знает, что надо мне для моего спасенья. На эти фразы мне не отвечай, не облегчай другим выслути.



кон. октября 1927 г.

Ц. — П.: Теперь о вчера. Пришел Родзевич, я прочла ему кое-что из твоего письма, чувствуя, что озолачиваю, оалмазливаю... И знаешь, первое, что он сказал: М.! Вам надо бы в Россию. Я похолодела. Что?! — Да, да, не навсегда, съездить, вернуться, летом, Вам надо, Вас надо там, они тянутся к Есенину, потому что не доросли до Пастернака и никогда не дорастут, а Маяковский и Асеев — бездушны, им нужно души, собственной, Вашей. Нельзя жить своим запасом, Вы 5 лет как уехали...

Не ты ко мне в мою — европейскую и квартирную — неволю, а я к тебе в мою русскую тех лет свободу. Борис, на месяц или полтора, этим летом, ездить вместе, — У-у-ра-ал... (почти что у-р-а-а!). Реально: ты бы там, а Горький здесь должны были бы поручиться в моей благонадежности.

ок. 12 ноября 1927 г.

Ц. — П.: <...> Мой день: утром варка утреннего и снаряжение детей на прогулку — варка обеда — кусочки Федры — дети с прогулки, Мур спать, обед. После обеда: прогулка с Муром — чай, кормежка детей и гостей — приезд С. после съемки — мысли об ужине, кусочки Федры, укладывание Мура, ужин. Вечер: С. в городе (дела и уроки), Аля спит, я — нет, не пишу, — куражу нет (фуражу!). Письма? Некому, тебе — только смущать в работе. Книг нет — в Мёдоне нет библиотеки, хоть приходской, идти некуда, все либо в городе, либо — хуже — дома, у себя дома, а я не хочу ни в какой, хочу из, а никто не хочет, потому что дождь и у большинства башмаков нет. Итак, с 9 часов до Сережинского поезда (1 час) — шью.

12 ноября 1927 г.

П. — Ц.: Ты легко себе представишь (о других радостях дальше), какую радость доставило мне то, что впервые за эти годы ты заикаешься, или начинаешь думать, или допускаешь мысль о приезде сюда. Это не так легко устроить, и об этой нелегкости уже успел сказать Горький <...> Асеев сказал, что принимается за дело о твоём возвращении, что говорил уже об этом с Луначарским, но тот будто на стену полез и объявил, что это покамест совершенно невозможно.

июнь 1928 г.

Ц. — П.: Борис, наши нынешние письма — письма людей отчаявшихся: примирившихся. Сначала были сроки, имена городов — хотя бы в 1922 г. — 1925 г.! Из нашей переписки исчезли сроки, нам стало стыдно — что? просто — врать. Ты ведь отлично знаешь — то, что я отлично знаю. Со сроками исчезла срочность (не наоборот!), дозарезность друг в друге. Мы ничего не ждем. О Борис, Борис, это так.

Ты мне (я — тебе) постепенно стал просто другом, которому я жалею: больно — залижи. (Раньше: больно — выжги!)

18 апреля 1930 г.

П. — Ц.: Ты все знаешь уже, вероятно, из газет. Если можно, удовлетворишь тем многим, что прибавлю о себе. Три дня я был весь в совершившемся, плакал, видел, понимал, плакал и восхищался. На четвертый день меня отлучили от события <...> Я нигде не мог пристроить двух столбцов о нем, которые ничего страшного, кроме признания красоты его свободного конца, не заключали. Сохрани, пожалуйста, этот факт в тайне. Если бы тут узнали, что он стал известен у вас, я бы стал мишенью ежедневной клеветы, а это менее чем когда нужно мне... Я от Володи ждал чего-то подобного. Я думал, что он по-своему раздвинет рамки жизни и роковой предугаданности всеми, т.е. исчезнет в неизвестность или обманет ожидание еще чем-нибудь. Но мне казалось, что, обманув, останется жить.

«Все забираю в гробницу»

16 марта 1931 г.

Ц. — П.: Я не любовная героиня, Борис. Я по чести — герой труда: тетрадного, семейного, материнского, пешего. Мои но-

ги — герои, и руки — герои, и сердце, и голова.

между 2 и 10 июля 1931 г.

Ц. — П.: Начну со стены. Вчера впервые (за всю с тобой, в тебе — жизнь), не думая о том, что делаю (и — делая ли то, что думаю?), повесила на стену тебя — молодого, с поднятой головой, явного метиса, работы отца <...> Теперь я просто могу сказать: «А это — Борис Пастернак, лучший русский поэт, мой большой друг», говоря этим ровно столько, сколько сама знаю.

О преемственности. Об ответственности. Может быть, после Пушкина — до тебя — и не было никого? Ведь Блок — Тютчев и прочие — опять Пушкин, ведь Некрасов — народ, т.е. та же Арина Родионовна. Вот только твой «красивый, 22-летний»... Думаю, что от Пушкина прямая кончается вилкой, вилами, один конец — ты, другой — Маяковский.

июль 1935 г.

Ц. — П.: И я дура была, что любила тебя столько лет напролом.

Но мое дело — другое, Борис. Женщине — да еще малокрасивой, с печатью *особости*, как я, и не совсем уже молодой — *унизительно* любить красавца, это слишком похоже на шалости старых американок.

Ты был очень добр ко мне в нашу последнюю встречу (невстречу), а я — очень глупа.

Я защищала право человека на уединение — не в комнате, для писательской работы, а — в мире, и с этого места не сойду.

Мне стыдно защищать перед тобой право человека на одиночество, потому что все стоящие были одиночки, а я — самый меньший из них.

октябрь 1935 г.

Ц. — П.: О тебе. Тебя нельзя судить как человека, ибо тогда ты — преступник. Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери, на поезде — мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет — не жди. Здесь предел моего понимания, нашего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, *обратное* тебе: я на себе поезд повезу, чтобы повидаться <...> Теперь, подводя итоги, вижу: моя мнимая жестокость была только форма, контур сути, необходимая граница самозащиты — от *вашей* мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Б. Пастернак. Ибо вы в *последнюю* минуту отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между вами, нечеловеками, я была только человек... Я, когда буду умирать, о душе (себе) подумать не успею, целиком занятая: накормлены ли мои будущие провожатые, не разорились ли близкие на мой консилиум, и, может быть, в *лучшем*, эгоистическом, случае, не растащили ли мои черновики.

Собой (душой) я была только в своих трагедиях и на одиноких дорогах, редких, ибо я всю жизнь — водила ребенка за руку. Но именно потому, что всю жизнь заботилась, всю жизнь и огрызалась — *отпрызалась*. На «мягкость» в общении меня уже не хватало... *Мать-пеликан* в силу создавшейся системы питания — зла. Ну, вот.

<...> вы от всего (всего себя, этой ужасной жути: нечеловека в себе, божества себе), как собаки собственным простым языком от ран, лечитесь — любовью, с мым простым. И когда Ломоносова мне огорчением писала о твоей «невоздержанности», по наивной доброкачественности путая тебя с Пушкиным и простой мужской страстностью, истолковывая твой невысказанный брак: да, милая, слава Богу, ибо это его последний прищеп.

Только *пол* делает вас человеком, даже отцовство.

Поэтому, Борис, держись своей красотицей.

март 1936 г.

Ц. — П.: Литературная газета (где твоя речь — о, Господи! «Мы в непогоду, в стужу плывем на подъем (хотя бы — напролом!) Мы плывем и дружим и песни поем. Ласкаем дитяшек, растим города...», впрочем это уже не Безыменский, а Беспощадный, т.е. та же бездарь, только с другой начинкой, что здесь, на всепарижском смотре поэтов. Ты же, ибо то же чувствую: встать и уйти.

То, что у вас считается бесстрашием (очевидно, так надо понимать твою речь) — не у «нас» (у нас — нет), не у нас, в Париже, а нас — в Лирике...

Ничего ты не понимаешь, Борис (о лирике, забывшая Африку!), ты — Орфей, пожираемый зверями: пожрут они тебя.

Тебя сейчас любят все, потому что не Маяковского и Есенина, ты чужое место занимаешь — надо же кого-нибудь любить! но, любя, уже стараются: ломают, обкарнивают по своему образу-подобию.

<...> Мур мне говорит: «Мама, Вы в маленьком — совсем не эгоист: все отдает всех жалеете, но зато — в большо-ом — В страшный эгоист и совсем даже не христианин. Я даже не знаю, какая у Вас религия».

— Не христианин, Мур, а фараон, все забирало в гробницу, дабы через тысячелетия проросло зерно.

Я знаю, что я своими делами больше прав, чем вы с вашими словами. Постарайся жить до девяноста лет, чтобы это застало. Потому что слова о стихах не помогают — нужны — стихи.



ИНА
ГЛЕВА
НОК
ЖНИКА
СА

ется «твоя семья» — благословляю его (ее). После того ледяного ужаса — все легко, все снесу. Я лежала на песке, на доне, куда зарылась от людей, и вдруг — никто как Бог: «Глупость! Бред! Билет ни при чем. Проще, проще». О, я не плачу, больше не буду плакать. Развести нас может только идея.

31 мая 1927 г.

Ц. — П.: Борюшка, ты взволновался о славе. Дай, пойму. ...теряю свой час славы. Есть в этом горечь? Досада, пожалуй, и вот почему... Мое глубокое убеждение, что, печатаясь я в России, меня бы все поняли. Да, да, все, потому что каждый бы нашел свое, потому что я — много, множественное. И меня бы эта любовь — несла.

Просто в России сейчас пустует трон, по праву — не по желанию — мой. Говорю с тобой, как со своей совестью. Ты избраннее меня. Ты видимое превращаешь в невидимое, я невидимое — в видимое. Ты явное делаешь тайным, я тайное — явным: вывожу на свежую воду.

Но, чтобы вернуться к славе, — моих книг в России нет и поэтому поэта нет.

19 июня 1927 г.

П. — Ц.: В конце недели из города привезли газеты. Есть вещи, относительно которых всего естественнее молчанье полной подавленности и потрясения. С 14-го года, тринадцать лет, было, казалось бы, время привыкнуть к смертным казням, как к «бытовому явлению» свободолюбивого века! И вот — не дано, возмущает до основания, застилает горизонт. Что сказать? Завтра я разверну привезенную из города газету, и журналист в пиджаке, обремененный семьей и этим зарабатывающий себе и ей на пропи-

Ц. — П.: <...> Мой день: утром варка утреннего и снаряжение детей на прогулку — варка обеда — кусочки Федры — дети с прогулки, Мур спать, обед. После обеда: прогулка с Муром — чай, кормежка детей и гостей — приезд С. после съемки — мысли об ужине, кусочки Федры, укладывание Мура, ужин. Вечер: С. в городе (дела и уроки), Аля спит, я — нет, не пишу, — куражу нет (фуражу!). Письма? Некому, тебе — только смущать в работе. Книг нет — в Мёдоне нет библиотеки, хоть приходской, идти некуда, все либо в городе, либо — хуже — дома, у себя дома, а я не хочу ни в какой, хочу из, а никто не хочет, потому что дождь и у большинства баншаков нет. Итак, с 9 часов до Сережинского поезда (1 час) — пишу.

12 ноября 1927 г.

П. — Ц.: Ты легко себе представишь (о других радостях дальше), какую радость доставило мне то, что впервые за эти годы ты заикаешься, или начинаешь думать, или допускаешь мысль о приезде сюда. Это не так легко устроить, и об этой нелегкости уже успел сказать Горький <...> Асеев сказал, что принимается за дело о твоём возвращении, что говорил уже об этом с Луначарским, но тот будто на стену полез и объявил, что это покамест совершенно невозможно.

июнь 1928 г.

Ц. — П.: Борис, наши нынешние письма — письма людей отчаявшихся: примирившихся. Сначала были сроки, имена городов — хотя бы в 1922 г. — 1925 г.! Из нашей переписки исчезли сроки, нам стало стыдно — что? просто — врать. Ты ведь отлично знаешь — то, что я отлично знаю. Со сроками исчезла срочность (не наоборот!), дозарезность друг в друге. Мы ничего не ждем. О Борис, Борис, это так.

Ты мне (я — тебе) постепенно стал просто другом, которому я жуюсь: больно — залижи. (Раньше: больно — выжги!)

18 апреля 1930 г.

П. — Ц.: Ты все знаешь уже, вероятно, из газет. Если можно, удовлетвори тем немногим, что прибавлю о себе. Три дня я был весь в совершившемся, плакал, видел, понимал, плакал и восхищался. На четвертый день меня отлучили от события <...> Я нигде не мог пристроить двух столбцов о нем, которые ничего страшного, кроме признания красоты его свободного конца, не заключали. Сохрани, пожалуйста, этот факт в тайне. Если бы тут узнали, что он стал известен у вас, я бы стал мишенью ежедневной клеветы, а это менее чем когда нужно мне... Я от Володи ждал чего-то подобного. Я думал, что он по-своему раздвинет рамки жизни и роковой предугаданности всеми, т.е. исчезнет в неизвестность или обманет ожидание еще чем-нибудь. Но мне казалось, что, обманув, останется жить.

«Все забираю в гробницу»

16 марта 1931 г.

Ц. — П.: Я не любовная героиня, Борис. Я по чести — герой труда: тетрадного, се-

везу, чтобы повидаться <...> Теперь для итога, вижу: моя мнимая жестокость — только форма, контур сути, неогражденная самозащита — от вашей Рильке, Марсель Пруст и Б. Пастернак вы в последнюю минуту отводили тавляли меня, давно выбывшую людей, один на один с моей любовью. Между вами, нечеловеками, я был человек... Я, когда буду умирать, (о бе) подумав не успею, целиком за кормлены ли мои будущие прово разорились ли близкие на мой счет, и, может быть, в лучшем, эгоистическом случае, не растащили ли мои черт.

Собой (душой) я была только в трагедиях и на одиноких дорогах, ре я всю жизнь — водила ребенка за именно потому, что всю жизнь за всю жизнь и огрызлась — отгрыз «мягкость» в общении меня уже ло... Мать-пеликан в силу создавшей стемы питания — зла. Ну, вот.

<...> вы от всего (всего себя, этой жути: нечеловека в себе, бы себе), как собаки собственным языком от ран, лечитесь — любовью простым. И когда Ломоносов огорчением писала о твоей «невности», по наивной доброкачественности тебя с Пушкиным и проской страстностью, истолковывавый брак: да, милая, слава Богу, его последний прищеп.

Только пол делает вас человеком отцовство.

Поэтому, Борис, держись своей вицы.

март 1936 г.

Ц. — П.: Литературная газета (где — о, Господи! «Мы в непогоду, в с на подъем (хотя бы — напролом! шем и дружим и песни поем. Ла тишек, растим города...», впрочем не Безыменский, а Беспощадный бездарь, только с другой начин здесь, на всепарижском смотре же, ибо то же чувствую: встать и

То, что у вас считается бесстрашием, так надо понимать твою у «нас» (у нас — нет), не у нас, в П нас — в Лирике...

Ничего ты не понимаешь, Борна, забывшая Африку!), ты — О жируемый зверями: пожрут они

Тебя сейчас любят все, потом Маяковского и Есенина, ты чужое мешаешь — надо же кого-нибудь, но, любя, уже стараются: ломают, валят по своему образу-подобию

<...> Мур мне говорит: «Мама леньком — совсем не эгоист: все всех жалеете, но зато — в больш страшный эгоист и совсем даже тианин. Я даже не знаю, какая у гия».

— Не христианин, Мур, а фарабираю в гробницу, дабы через ты проросло зерно.

Я знаю, что я своими делами бова, чем вы с вашими словами. Подождит до девяти лет, чтобы э Потому что слова о стихах не г



**МАРИНА
ЦВЕТАЕВА**
рисунок
художника
Билиса

ется «твоя семья» — благословляю его (ее). После того ледяного ужаса — все легко, все снесу. Я лежала на песке, на дюне, куда зарылась от людей, и вдруг — никто как Бог: «Глупость! Бред! Билет ни при чем. Проще, проще». О, я не плачу, больше не буду плакать. Развести нас может только идея.

31 мая 1927 г.

Ц. — П.: Борюшка, ты взволновался о славе. Дай, пойму. ...теряю свой час славы. Есть в этом горечь? Досада, пожалуй, и вот почему... Мое глубокое убеждение, что, печатайся я в России, меня бы все поняли. Да, да, все, потому что каждый бы нашел свое, потому что я — много, множественное. И меня бы эта любовь — несла.

Просто в России сейчас пустует трон, по праву — не по желанию — мой. Говорю с тобой, как со своей совестью. Ты избраннее меня. Ты видимое превращаешь в невидимое, я невидимое — в видимое. Ты явное делаешь тайным, я тайное — явным: вывожу на свежую воду.

Но, чтобы вернуться к славе, — моих книг в России нет и поэтому поэта нет.

19 июня 1927 г.

П. — Ц.: В конце недели из города привезли газеты. Есть вещи, относительно которых всего естественнее молчанье полной подавленности и потрясения. С 14-го года, тринадцать лет, было, казалось бы, время привыкнуть к смертным казням, как к «бытовому явлению» свободолюбивого века! И вот — не дано, возмущает до основания, застилает горизонт. Что сказать? Завтра я разверну привезенную из города газету, и журналист в пиджаке, обремененный семьей и